

18+

Михаил
Касоев

НЕБО

БЛИЖЕ
К КРЫШАМ

Рассказы и повести

Михаил Касоев

**Небо ближе к крышам.
Рассказы и повести**

«Издательские решения»

Касоев М.

Небо ближе к крышам. Рассказы и повести / М. Касоев —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-621827-7

«Вчерашний человек уже не тот, что сегодняшний». Борхес сказал. Хорхе. Луис. Ежедневно, неизменно и предопределённо каждый человек становится «вчерашним». Эта книга — очевидная попытка не забыть его: человека, ставшего «вчерашним». Она написана для людей с воображением, способных воспринять миф. Для людей с чувством юмора, способных понять, что миф может быть... бытовым. Для людей, в которых, будь они трижды счастливы, всё равно мерно живет тихая, вовсе не физическая, боль: своя или чужая. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-621827-7

© Касоев М.

© Издательские решения

Содержание

От автора	6
Цикл «Опечатки»	7
Дворнику не место в космосе	7
Корабли без якорей	8
Се ля ви!	10
Халло, Амстердам?	12
Цветные порхают платица	14
Цикл	16
Аллегро нон молто9	16
Высот лазурных аромат	20
Герои погибают худыми	25
Ландыши бабушки генерала	30
Небо ближе к крышам	32
Цикл	38
День, когда ошибся Азор	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Небо ближе к крышам

Рассказы и повести

Михаил Касоев

Корректор Ольга Рыбина

Дизайнер обложки Вера Филатова

© Михаил Касоев, 2024

© Вера Филатова, дизайн обложки, 2024

ISBN 978-5-0062-1827-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

В этой книге собраны незатейливые рассказы о вымышленном городе Гуджарати и его разноязычных жителях, вместе с которыми я пытаюсь исследовать абсурд в реальности. Или реальность абсурда.

Иногда это получается нескучно. Как это было когда-то в столице Грузии Тбилиси – прототипе Гуджарати.

Почему город назван именно так? В-третьих, из интереса к Индии, где подсмотренная мной обыденная жизнь по-южному часто бывала невероятно театрализована. Во-вторых, на курдском (этнически моем) языке слово «грузинский» звучит как гюрджи, и именно его вольное развитие привело к появлению Гуджарати. Ну и во-первых, честно, сам не знаю, как всё это (см. выше) смешалось в одной голове...

Главное – вымышленность места действия, в котором, как писал Х. Кортасар, «случались вещи умеренно необычные», позволяет избежать разных – исторических, топонимических, национальных, социальных и т. д. – упрёков.

Действующие герои – это простые, израсходованные временем люди. Мне такое определение нравится больше, чем «маленький человек». Жёстче, правдивее. Ещё мне нравится давать им откровенно странные имена и любить их, чудаков, в том числе и за это. Истории о них, заметно лишённых суверенности, на мировую историю никак не влияющих, часто нелитературно обрываются так же неожиданно, как, бывает, внезапно обрывается и сама жизнь.

Чтение любого из рассказов в этой книге занимает от двух до двадцати минут. Не более. Короткий формат наиболее деликатно, как мне кажется, относится ко времени, которого читателю, увы, неизменно не хватает...

Цикл «Опечатки»

Дворнику не место в космосе

Каждый раз, как в Гуджарати неожиданно портилась погода, бабушка Аджи тревожно обвиняла в этом человечество, с непростительным бахвальством, на грохочущих ракетах, устремившееся в космос.

Как можно приходить в гости к Богу, если Он не зовёт?

Грех это. Вот и наказывает.

Любя...

Пока не строго...

Часто и этот вопрос со вздохами и сетованием на то, что мир устроен не так, как ей хотелось бы, бабо Аджи назидательно обсуждала с дворником Кучу, открывая ему, дурковатому, естественные первосмыслы. Без надежды на понимание.

«Зачат и рождён на земле – нечего в космосе делать. Вот ты, Кучу, зачат потому, что твоя мама „поймала“ твоего папу на красное, одолженное, платье. Кто этого не знает, а? Зачем тебе в космос лезть? Здесь подметай!»

Правопорядок во Вселенной она охраняла как бдительная храмовая стража.

Усердно. Круглосуточно.

«Бабо Аджи, папа Кучу был дальтоник, цвета не различал», – Босли, охотник-любитель, не упускал возможности дуэтом поиздеваться над дворником и раззадорить старуху.

Потный, пахнувший прелой одеждой и всегда без причины весёлый, Кучу, как правило, любые разговоры с собой, о чём бы они ни были, заканчивал каким-то беспечным странным смехом, звучанием напоминавшим камнепад:

– Р-р-рейгана маму е**л. И Гор-р-рбачева – тоже.

Но в тот раз космос почему-то заинтересовал его.

Выяснилось, что Кучу волнуют особенности мочеиспускания космонавтов в условиях «небесомости», как он понимал состояние отсутствия привычной гравитации.

Бабо Аджи допила из гранёного прозрачного стакана, произведённого в год, когда она с родными отмечала своё восьмидесятилетие (как давно это было!), разведённую белым сахарным песком воду – шербет. И с притворным вздохом закурила папиросу: а вот и мой грех, курю много...

Презрительно пережевывая во рту поседевший от ужаса перед останками её зубов табачный дым, она спустила его себе в ноги в неопрятно сморщенных, плотных, мутных чулках.

Потом ненадолго подняла вверх мерклые, со слабым сухим отблеском, усталые глаза.

Посмотрела в смущённое небо. Оно привыкло к тому, что Гуджарати живёт гортанным криком. Или стихами долговязого Хабо, с последнего этажа тщательно, разборчиво читающего ему, небу, свои самострочные стихи про «всё правильное», чему, увы, нет места на земле.

А тут бабо Аджи молча просила прощения.

За свой грех.

И грех человечества.

Корабли без якорей

Ну, перепили! Бывает...

Цеховик Партош, прерывая серьёзный тост, стал изображать сильно качающийся (то ли от подземных толчков, то ли от ветра) памятник Ленину, утверждая, что, когда вождь стоит на постаменте с выкинутой вперёд прямой напряжённой рукой, он похож на башенный кран со стрелой. Готовый к стройке! А где стройка, там – и, ха, халтура!

Униформист местного цирка Берду, пьяно, а потому смело пошикав вместе со всеми на разошедшегося Партоша – серьёзный тост всё-таки, – «красиво» продолжил:

– Перед тем как ненадолго и уже с большим нетерпением расстаться до следующей встречи в этом мире или... в ином, давайте выпьем за всех тех – пусть и не все сейчас за столом – «чи по соседству живут даже сны!»

Все с ним согласились.

Только старик Ломбрэ раздражённо парировал, что по его оценочным подсчётам за все известные тысячелетия, отражённые в арифметике человеческого бытия, «иной мир» так перенаселён, что всем им «в нём», тем более, вновь придётся жить как на коммунальном балконе. Скорее всего, с ещё большим уплотнением. А он, и так изнурённый и замороченный некоторыми, увы, живыми соседями, не всех будет рад видеть снова.

Перепили... Ну, бывает! Петь не стали.

Тяжеловес – 160 кг в небритом состоянии – Гирэ видел себя во сне сначала лежащим в парильне, предназначенной для обрядового потения, а затем, как – ё! – пожарные его расчёта неуклюже играют в редкие снежки, обстреливая ими друг друга и ставшую ещё более ненужной скромную районную каланчу.

Охотнику Босли снился мешковатый жилет защитного цвета, с множеством свисающих карманов, упорядочивающих, если правильно разложить всё необходимое, нетвёрдую память склеротиков и предположилых мужчин: патрон на кабана, нож на зайца, спички, сигареты, верёвка, фляга, топорик, капкан, подружейный спаниель, собака-сука Леди, деньги в целлофане для егеря, если попадётся, и сухая газета (не для того, чтобы читать).

Гимнасту Чезе К. по-холостяцки снилась девушки. Те самые, которые именно в ветреную погоду надевают роскошные широкие юбки, а потом трогательно, стыдливо и беззащитно, с молитвенным выражением на лице, придерживают их руками, чтобы они беззастенчиво не задрались кверху... Каждому порядочному мужчине хочется самоотверженно ринуться им на помощь, закрыть от «бессовестных» взоров их плоские, шлифованные животики. Чеза, кавалер с большой буквы, напряженно заметался между ними: девушками и пляшущим ветром. Искренний запах жарящихся где-то в ночи баклажан делал его сон невероятно соблазнительным. Не удержать аппетит и воображение. Ему расхотелось спать.

– Эй, Ломбрэ, дворничиха Инэ всем рассказывает, что сегодня на рассвете аж в конце улицы было слышно, как ты орал во сне: «Кястум! Кястум!»¹

Франт Ранули Анда при встрече с кем бы то ни было держал тонкие руки на отлёте, как будто готовился обнять. Или пуститься в пляс.

Он ходил в сорочке, подчёркнуто расстёгнутой от кадыка до третьей пуговицы сверху. More sexy!

Ломбрэ его, коллекционера повторных браков, известного своей позицией «жена как игрушка: хороша лишь новизной», не жаловал и вежливо держал, как тут принято было говорить, «на расстоянии».

¹ Кястум – в нардах предупреждение сопернику о том, что бросок игральными камнями не носит зачётный характер. Сделан для прикидки.

– Крючконосая баба! Подслушать даже летом при открытых окнах нормально не может. Хочешь – верь ей, хочешь – нет.

– Жалуется, что твой крик у неё, потерявшей от прилива крови лицо, поднял давление аж за три часа до окончания смены. Точно, ты в нарды вчера переиграл. Небось, снилось, будто предупреждаешь тёрщика Токэ или непримиримого дедушку Дво, что это твой тренировочный, «не в счёт», ход перед тем, как выбросить на зари² свои фирменные ду-шеш³?

– Ничего мне не снилось.

– Ва!

Сначала снилось ему лимонно-жёлтое «на вид» солнце.

Оно, скорее всего, «на вкус» – кислое. Если верить цветку.

Затем – небо, прошитое дождинками. Как стальными иголками.

Изумруд зелёных волн похолодел и стал острым, как осколки стекла.

Потом – туман акульего цвета.

И ещё какие-то важные частности.

Из-за них он, мрачный (а чему радоваться-то?), безумствующий капитан корабля со сломанным судовым рулём, оторвавшимися якорями и истерзанными в клочья парусами, чувствовал себя уязвимым. А впереди, как знание, придающее страху точность, его поджидали беспощадно твердеющие скалы. Они призрачно скалились сквозь туман, словно издеваясь над Ломбрэ.

Откладывая неизбежность, он в отчаянной надежде, то ли прося о чём-то, то ли заклинающая кого-то, атаковал в своём жутком сне мокрую палубу технически оснащённым броском двух безучастных белых с чёрными метками на гранях зари и, судорожно пробивая немоту, неистово вопил:

– Кястум! Кястум! Не в счёт! Не в счёт!

Не играл он в нарды накануне.

Понервничал.

Бывает.

Дедушка Дво пожаловался ему – «Зимой горька вода со льдом»⁴ – на сына, которому обиженно сказал, что тот только изредка по соседскому телефону Энзелы слышит, как стареет, пока однажды не ответит, голос отца.

«Дай мне его номер! – твердо сказал старик Ломбрэ. – Позвоню, задам ему...»

«Отвези меня к сыну, и я скажу тебе номер его телефона...» – ответил с надеждой дедушка Дво.

У старика Ломбрэ не было ни телефона, ни, последние лет тридцать, живого сына.

Но не мог же он признаться Раули, что видел нелепый сон.

С рассвета в этом городе привычно «заступают на дежурство» сотни просыпающихся древних и свежих ароматов.

Но нет среди них запаха моря.

Нет.

Разве что кто-нибудь случайно разобьёт тёмную склянку с густым йодом, характерным запахом напоминающим о том, как пахнут волны...

² Зари – игральные камни.

³ Два по шесть.

⁴ Басё М.

Се ля ви!

Недалеко от одной из трамвайных остановок в Гуджарати, в невзрачном дворике-колодце с нервной шумной лестницей, скрученной от первого до третьего этажа в металлическую, местами тронутую от времени почтенной охрой ленту, жил чернявый шуплый паренёк с торчащими позвонками – Жако.

Когда ни попадёшь на эту остановку, он – тут как тут!

Поначалу кажется, это всего лишь регулярное совпадение.

Потом понимаешь, Жако с утра до вечера, как оловянный, обделённый любовью, солдатик Андерсена, стоит здесь на левой ноге, упёршись согнутой правой назад в рыхлую, затёртую подошвой его туфель стену старого дома.

Примерное содержание привычного чувства «во всех оттенках» бесхитростно отражалось у него на лице – скука: будничная, зевотная, безотвязная, презрительная...

И все другие скуки, какие бывали тогда в том городе.

Когда красно-жёлтые трамваи подходили к остановке, казалось, что они, печальась – опять этот тип здесь! – раздражённо косят фарами вбок, вправо.

Лузгая семечки, купленные у бабушки Мухи, Жако геометрически расплёвывал шелуху наглым полукругом перед собой, глазел на отбывающих-прибывающих пассажиров: высоких, худых, очкастых, с авоськами, в шарфах, а особенно, уязвимых толстожопых – и, находя внешний повод, задирался с ними в коротких перебранках, жестикулируя так, словно он занимался отчаянным сурдопереводом своих бессвязных слов на никому не известный язык.

Делал он это:

без начала и конца;

без особого смысла.

Изредка в его жизни на остановке случайно возникала осмысленность: последний раз, когда он задел крупноносого Капито, застав того врасплох неожиданным вопросом:

– Э, Сиу (к отважным индейцам племён сиу это обозначение отношения, конечно же, не имело, Жако просто был нужен набор звуков для обращения), у тебя дома ковёр на стене висит?

– Да! – прорычал тот как бульдог, обеспокоившись тем, не пропало ли что из его квартиры.

– Ты когда «с таким носом» храпишь, ворс с ковра сносит, как ветром стебли в поле!

«Хар-хар и... хар-хар и...» – это Жако так смеялся, убегая от неспособного догнать его тяжёлого противника.

Круглый как шар Капито зло, не прикрывая носа, чихнул, как будто лопнул, и безжалостно послал Жако, который накануне всё-таки сходил в школу на какой-то урок, чтобы совсем не выгнали, на х*й.

Кто-то неизвестный (говорят, это была старая учительница французского языка тётя Несы) в воспитательных целях придумал приветственно-предупреждающую его хамство обезоруживающую реплику:

– Мсье Жако, трамвай подан. Пора в Париж!

Как же она – реплика, подхваченная насмешливыми пассажирами, – ему нравилась!

Жако без устали расплывался в полужёлтой от цвета зубов улыбке и отвечал «по-французски», единственной известной ему фразой, выпитой у той же тёти Несы, которая, добродушно разъяснив её значение, учительствуя, попыталась наскоро, до отхода трамвая, добиться от него ещё и безупречного произношения:

– Мальчик, ну-ка, произнеси: C'est la vie!

«Ученик» слова произносил как языком пляжными окатышами жонглировал... То есть безуспешно. Капито, издеваясь над ним, клялся всем мамой, что проще научить говорить лоснящегося усатого тюленя в городском зоопарке.

Но теперь Жако, предвкушая разговор «на иностранном», заметно оживал при виде подходящего к остановке трамвая.

И даже не скучнел, провожая его.

Халло, Амстердам?

Заика Олег Романович, охотно посвящая в секреты фотодела напросившегося в единственные ученики здоровяка Огру Бяли, убеждённо утверждал:

– Снимки, особенно – удачные, любить проще и удобнее, чем запечатлённых на них людей при жизни.

«Т-т-ты эт-т-то п-п-поймёшь. П-п-позже».

В квартире, на полке, в самодельной без стекла рамке из тщательно отшлифованных, покрытых бесцветным лаком, пожухлых, как страницы старой книги, брусков дерева стоял вертикальный портрет его экс-жены: 13×18 см.

Она озорно позировала перед объективом, держа в руках объёмный развёрнутый образец хрупкой красоты – гербарий из растений, произрастающих в пригородских полях и лесах. И выглядела счастливой. Как каждая женщина в цветах. Пусть и засохших.

Ни жены своего учителя, ни её гербария Огра никогда не видел.

В малюсеньком, со спичечный коробок подвале – голову пригни, два шага длины, полтора ширины – под их с Олегом Романовичем домом Огра с трудом обустроил свой крохотный «фотоприлавок», как-то во имя цели смирившись с существенным для рабочего процесса техническим недостатком: отсутствием проточной воды. И мелким неудобством лично для себя, такого большого и крупного, – узким треногим табуретом. Чёрным, как паук.

Запираясь здесь, предприимчивый Огра, посапывая, регулярно украдкой тиражировал очередной заказ клиентов из разных школ и одного института – фотографии, сделанные им аппаратом «Смена 8М» с чёрт знает как попавшего ему в руки заграничного, вредно бликующего журнала. Эротического.

...Прелый, «занюханный» воздух. Специальный фонарь. Красный свет: туш в сердце и барабанная дрожь в висках!

Какая она – женщина?

Подливаешь жидкий химический реактив в ванну с притопленной в ней белеющей фотобумагой «Унибром» – вот и ответ! Проявление – давно изученная и ясная химическая реакция!

Может, Афродита – Богиня любви «с ресницами гнутыми» на самом деле рождалась в прозрачном растворе жидкого проявителя у тайно владевших фоторемеслом искусных древних греков?

Это много позже загрустивший Гесиод в «Теогонии» догадался превратить скользкий реактив во взбитую нежной пенкой с романтическими, как бело-розовые кружева, пузырьками морскую волну. Ну, чтобы сделать историю привлекательнее заменённой реальности.

И тем самым зафиксировать природную привычку людей скучать по «новому прошлому»⁵, которого... не было.

– Эх, какие боги рождались в наше время!

«И между вечными» ними «прекраснейший – Эрос!»⁶

Огра, усмехаясь, часто вспоминал, как старик Ломбрэ, размышляя о настоящем времени, искренне удивлялся скорости передвижения современного ему транспорта и разъяснял, как уравнение решал, единственному во всём Верхнем квартале лётчику Игорю Тимощенко своё восхищение:

– Сейчас, Гарик-джан, человек с утра встаёт как Гагарин, «сир-памидор парэжэт, чай выпит» и через два часа – в космосе!

Игорь хохотал.

⁵ Лотман Ю. Непредсказуемые механизмы культуры.

⁶ Гесиод. Теогония.

Старик не унимался:

– Ты до Еревана сколько летишь? Полчаса?!

– Лязат, э! Красота, если не по-гуджаратски, э...

А тут Огра, не выходя из подвала – опа-опа – за секунды попадает в Амстердам. В центр Северной Голландии. В роскошную студию. С группой миловидных незнакомок с золотисто-жёлтыми нашампуненными волосами в пряном аромате живых, не засушенных даже чёрно-белой фотографией неизвестных цветов.

Hallo, Amsterdam?

Голландские незнакомки с фотографий, каждый раз как в первый, искушали Огру дать им, «заласканным и нестареющим», новые имена.

Он, необузданный, бесстыдно пялясь в снимки, давал и раздавал их. Шёпотом.

Они с дурманыщей покорностью послушно принимали эти имена.

Это только кажется, что люди на фотографиях – замерли и неподвижны. Закроешь глаза, и они белыми тенями живут своей – у кого какая – естественной жизнью.

Домашним: матери и деду – Огра показывал после сушки в горячем глянцевателе сияющие ярче натёртого содой пятака «новые» фотографии.

Достопримечательности Гуджарати в дежурных ракурсах; одноклассники: мальчики – only – настоящая мужественность и преданность суровой дружбе; девочки – really – исключительная женственность и «авансом» верность будущему любимому. Он, кстати, вот-вот «войдёт» в кадр...

– Замечательно! – укоряюще говорила мама, переживая, что этим увлечением сын бывает без еды занят до голодного свербежа в желудке, и не замечала, что раз от раза это были одни и те же фото.

– Хорошо... – ворчливо говорил дед, не глядя на них и считая, что эта «дурь» не поможет внуку, как ему в душе хотелось бы, стать в жизни зажиточным, как папа деда: эх, было время, до Революции 1917 года. Будет Огра неимущим фотографом, как этот разведённый «инженир» Олег Романович. Про таких «в нашем народе» говорят: «беден, как ладонь в слезах»⁷.

Дед для придания весомости своим словам всегда ссылаясь на «наш народ». Даже если придумывал эти слова сам.

– Принёс? – нетерпеливо спрашивал огромного Огру очередной пританцовывающий как на морозе «клиент», и оба они своим видом и поведением почему-то заражали явным беспокойством лица прохожих на улице.

Огра медлил. Набивал цену. Нравилось ему это. Потом небрежно говорил:

– На, ну...

Это означало: «возьми».

Когда он уходил, некоторым клиентам казалось, что какой-то массивный конюх в толпе ведёт в поводу невидимую лошадь тяжеловесной породы.

⁷ Рильке Р. Часослов.

Цветные порхают платица

В белой до пояса хлопковой куртке с закатанными по локоть рукавами, пританцовывающей походкой парикмахера, ранним утром четырнадцатого дня лета перед началом смены в стеклянные, в две створки, двери салона бытовых услуг на Витринном проспекте сутулясь вышел перекурить знаменитый в Гуджарати молодой мастер своего дела Каро С.⁸

Он только закончил рассказывать по обыкновению опохмеляющимся у него в буднее утро друзьям: Греку, Большому Гуджо и Аджике – одну из историй своей молодости. В ней случилось короткое знакомство с «навсегда влюбившейся» в него девушкой, которая в день их расставания в далёком холодном городе бежала по взлётной полосе за лайнером и плача махала вслед ему рукой.

Она «пайзахи» – всенепременно обещала (Каро сам слышал) писать ему письма до тех пор, пока судьба не сведёт их ещё раз и навсегда.

«Самолёт не лошадь, э, не осадись...» – расчётливо заметил Грек, заинтересовавшийся транспортными подробностями истории.

«Любовь! За это и выпьем!» – вызывающе сказал Большой Гуджо, подразумевая, что Грек ни хрена не понимает ни в ней, ни в самолётах, ни в лошадях.

Выпили.

Закурили.

Синхронно затянулись, большим и средним пальцами, как щипцами, удерживая фильтр сигареты, укрытой куполом греющейся ладони. Особая манера. Шикарная. По ней видно: эти смуглые мужчины, кровь с вином, жизнью тёрты. К поступкам – готовы. Ша, только докурят!

Каро докуривал на улице.

Тогда, кажется, был июль – время, когда угольный асфальт в городе жарится. А над ним цветные порхают платица. Воздушно. Томительно.

Летняя девочка, она остановилась перед подземным переходом. Каро подошёл к ней, как смелый солдат, умело скрывающий свой испуг:

– Там под землёй (он имел в виду переход) вам будет страшно одной...

И завертелось.

Коку лони сэку хама

У ме миру кию кур...

Напевала она что-то бессвязное на укромных парковых скамейках. Шептала Каро, что поёт ему о радуге над умывшимся дождём полем.

Каро улыбался. И смелел.

После радуги у него осталась её чёрно-белая старая фотография. С чужим для Гуджарати лицом. С резными, как тогда было принято в передовых ателье, краями.

Они остро и необъяснимо долго ранили его.

Фотографию Каро хранил на работе.

Не дома.

Она была бы неинтересна жене, которая не раз и не два упрекала его: «Обещал несчётные звёзды с неба... А я всю жизнь считаю до тридцати, чтобы ошпарить помидоры и аккуратно снять с них красную кожуцу для салата».

– Девочка в платье ситцевом, ах, мама-джан, снится мне... – Большой Гуджо невидимо, чувственно распелся всерьёз.

⁸ A special tribute to М. Булгаков.

Грек хохотал, рассказывая ему и Аджики историю соседского десятиклассника Жавы.

По окончании школы с целью достичь полного взросления в компании подобных ему шалопаев тот на родительские деньги был отправлен во взрослую курортную поездку, из которой возвращаются мужчинами.

Подвыпившие друзья в гостиничном номере «по благу» подшутили над ним, сказав, что обыкновенно тут красавицы сами стучатся в двери, просят дать прикурить. Ну, а дальше...

Жава приготовил коробок со спичками и несколько «мятных» слов, чтобы «залепиться» и непринуждённо разговорить незнакомок.

Чирк! «Нэ бойса», озарило нас любовью...

Жава даже успел почувствовать себя могучим гребцом, способным удержать уверенными руками крепкий челнок в любом водовороте событий...

Утром его обнаружили спящим у двери на стуле, под ножками которого валялся полный спичечный коробок.

Светлолицые, ласковые, гладкие красавицы той насмешливой ночью так и не пришли к нему.

Каро знал, что это тот самый Жава-переросток, который как-то объявил одноклассникам о своей сверхспособности по походке девушки безошибочно диагностировать: целомудренна она ещё или уже нет!

После этого на переменах вокруг Жавы роились мальчишки всей школы. От прилива крови их пунцовые лица казались вымазанными фалунской плотно-красной краской, сияющей так, как если бы над Скандинавией вставало такое же жаркое солнце, как и над их городом.

Густо напряжённое, с глубоко посаженными от природы глазами, лицо самого Жавы, мистически проницая школьные коридоры, торжественно-мрачно превращалось в сакральную маску.

Подчёркнуто значимыми наклонами головы влево и вправо он через паузу «сортировал» школьниц: «эта – уже всё...» или гораздо реже: «пока – нэт, то...»

Иногда в отношении десятиклассниц оценка «эта уже всё...» дополнялась циничным временным обстоятельством – «...и давно, то».

В первую категорию «по Жаве» попадали почему-то подряд все, без исключения, старшие красавицы школы, которые, ненавидя, боялись его и в тетрадах нервно, придавая злу абсолютную форму, рисовали «провидца» в виде вертикально надвигающегося чёрного прямоугольника с лютым зевом вместо рта. Без носа. Без глаз. Без души... Бес.

– Каро! – голос Аджики пьяно покачивался, – секретаря райкома ты же стрижёшь? Скажи, что у него, коммуниста, в голове?

– Я причёску ему делаю, а не трепанацию! И заканчивайте, скоро смена начнётся.

«Сравнил истории: мою искреннюю и этого сосунка!» – Каро сильно разозлился на Грека. Хотел было выругаться и даже произнёс первое бранное слово, но осёкся, вежливо приветствуя появившуюся из соседней подворотни дворничиху Зипо:

– ...Мадам!

Коренастая, она энергично тащила по асфальту за собой упирающуюся метлу. Длинную. Серую и облезлую.

– Bonjour monsieur! – могла бы ответить Зипо.

– Ва, Каро! – сказала она так радостно-изумлённо (подобная экспрессия тут – норма), как если бы видела его в последний раз не вчера утром, а пару сотен лет назад.

Цикл Ad Absurdum

Аллегро нон молто⁹

Её звали Кери.

Свой первый сеанс оплачиваемого гадания на кофейной гуще она провела 12 апреля 1961 года. Опытная в гадании и иной эзотерике мама Кери – женщина, нижний подбородок которой лежал на её же высокой груди, была в тот день на всякий случай дублёром дочери. Всё прошло благополучно. За предсказание счастливых родов носатой девице с четырёхмесячным животом она получила свои первые три рубля и начала отсчёт теневого стажа.

Всегуджаратская известность обрушилась на Кери после сытной свадьбы дочери одного из высших компартийных правителей города, юркая по-беличьи жена которого за три месяца до этого приводила её «погадать на жениха».

Восхищённо распираемый провидческими способностями Кери правитель в узком идейно-коньячном кругу простодушно договорился до того, что «если бы товарищ Ленин 30 августа 1918 года утром выпил с нашей Кери чашечку кофе, он точно от неё бы узнал, что вечером в него будет стрелять Фанни Каплан. Из воронёного браунинга».

Идея специализации дочери на свадебных предсказаниях принадлежала маме Кери. Она интуитивно полагала, что женские практика подсознания или сила желания естественным образом в подавляющем большинстве случаев и без гадания приведут к гарантированному результату. К тому же объявление о специализации позволяло «отстроиться» от конкуренток, всеядно берущихся гадать по любому поводу.

Настоящие профессионалы не могут быть неразборчивы.

Мама Кери ещё очень надеялась на окрас волос дочери. Без объяснений она полагала, что «брюнеткам клиентки больше верят, чем блондинкам». Так, исправляя несовершенство настоящего и укрошая будущее, Кери стала придавать судьбоносные смыслы кофейным лакунам случайных органических паттернов, оседавших на дне и стенках миниатюрных чашек.

От других кофейных миссионеров города Кери отличалась тем, что щедро использовала только фарфоровые чашки сервиза «Мадонна» (Made in GDR), барочная роспись которых придавала ритуалу гадания статус, художественность и некоторый историзм.

Она умело прикрывала допрос диалогом, не впадала в конфиденциальное бормотание и была не чужда новаторству.

Заметив однажды, как благосклонно действует на восприимчивость клиентки мелодия, исполняемая на пианино ученицей специализированной школы Элис, умницей-соседкой «из-за стенки», Кери согласовала со своим невидимым тапёром афишу выгодных совместных выступлений.

Кери тогда очень понравился чарующий термин, которым Элис характеризовала темп исполняемой сонаты – *allegro non molto*. «Вот-вот, быстро, но не очень!»

Быстро, но не очень шли её золотые, зажиточные годы. Осенью 1973 года Кери уже принимала клиентов в дефицитных итальянских сапожках. Цвета сарруссино. Лакированные, они при ходьбе, правда, умоляюще скрипели, словно хотели вернуться на родину.

«Я тебе так скажу...» – вертя в руках выпитую чашку и зорко вглядываясь в её дно и стенки, начинала Кери кофейное колдовство на языке своих ещё догородских предков.

⁹ Музыкальный термин.

Тут многие клиентки, за глаза говорившие о ней как о неотёсанной, неравной себе женщине, начинали заискивать перед Керо, как покупатель перед продавцом, рассчитывая, что уж им-то гадалка вылепит из кофейной гущи жениха получше. За то и платили.

По статистике, сто процентов молоденьких барышень, сидя напротив Керо, как голубки на насестах, капризно требовали детали встречи с возлюбленным. Керо, используя базовый стандарт: «Широко раскинув руки в стороны, вы бежите навстречу друг другу», – вдохновенно импровизировала на заданную тему.

Хрупкие, невинно сжатые коленные чашки прелестниц и девушек с изъёмами начинали почтительно потеть.

Восемьдесят процентов из них при этом волновались, «а что на мне одето?» Выяснялось, что недавно в гардероб по заказу провидения поступило как раз нужное платьице. Оно волнующе накрывает комплект подходящего нижнего белья, которое даже на бегу будет пробиваться из-под ткани пастельных (многих барышень почему-то смущало это слово) тонов рельефом потаённых бретелек, косточек и креплений, магнетически притягивающих взгляд восхищённого избранника.

Двадцать процентов барышень, преимущественно те, кто носили очки, как правило, переживали «а как ОН выглядит?» Керо ничего не слышала о такой науке, как физиогномика, но в строгом соответствии с ней описывала голливудского актёра Грегори Пека в ковбойском галстуке-боло. Его образ «шёл на ура» ещё и потому, что Гуджарати, влюблённый в слухи, безоговорочно верил: папа Грегори (Геorgia) – родом «отсюда». До Октябрьской революции на Малой Татьянинской он держал аптеку, «ту самую, в которой в поздние советские годы можно было купить из-под прилавка импортные презервативы».

В начале перестроечного переполоха Керо даже подумывала съездить в Лос-Анджелес, познакомиться с актёром, сравнить его живого со своим кофейным описанием. О том, что учтивость мистера Пека может ограничиться только обращением, она не подозревала: «Мэм! You вашу мать! Я четырежды оббежал землю. Широко раскинув руки, держа на весу в одной из них увесистый веночек флёрдоранжа. У меня болят ноги, не помогают лучшие мази моего папы. Да, он был аптекарем, но не в Гуджарати (Glory to God!) И папа никогда (never!) не торговал из-под полы презервативами. Он делал это открыто и свободно».

Вплоть до 1983 года Керо, сама томимая той самой «силой желания», регулярно смотрела на выбранную в небе звезду и чувствовала, что кто-то один-единственный сейчас также смотрит на неё.

Это мог быть метранпаж городской типографии Орба с жёстким волосатым жабо, карабкающимся из-под вымазанной краской сорочки к самому кадыку. Или страдающий эмоциональными перепадами настроения исполнитель свадебной и похоронной музыки, душевно известный в городе как «Ай, джана». А может, никогда не разжимающий кулаков «вор в законе» Панчи, с его привычкой двусмысленно приветствовать всех встречаемых: «Целую ваши души!»

Кто?

Она была «в одной чашке кофе» от ответа на этот вопрос, но оправдывала себя тем, что основной принцип Устава Службы Предсказания строго запрещал ей гадать «на себя».

Настоящие профессионалы не могут быть беспринципными.

В трудные времена, в период пандемии Гражданской войны, охватившей город, Керо, забыв о специализации, попыталась расширить меню своих гаданий, включив в него финансовую, медицинскую и даже военную навигацию. Безуспешно! У большинства клиентов не было ни денег, ни даже сумбурных надежд на будущее.

Последним к ней обращался командующий артиллерией, состоящей из единственного орудия, одной из противоборствующих в войне сторон. Человек цели, рыжей щетине на лице которого было столько же зимних дней, сколько войне, он пришёл к Керо в декабре прямо

с фронта, располагавшегося в городских условиях на улице под окнами её кухни, и одержимо проорал своё требование: доложить ему точно «по кофею», в какой из комнат осаждаемого правительственного здания отсиживается свергаемый вождь противника! Для выстрела прямой наводкой снарядом с выведенным на нём по-малярски белой краской кричащим пожеланием «Умри, бл*дь!»

«В Сальвadora Альенде хотя бы можно было попасть. Он на балконе стоял. А этот прячется».

Нужные координаты командир мятежников, тепло помянувший президента Чили, готов был оплатить сухими сигаретами.

Кофе у Кери давно закончился. Разухабистая, по-ночному без меры наглая свита артиллериста, заварив остатки найденного чёрного чая на керосинке, принялась уничтожать крохи съестных запасов Кери.

Артиллерист стал жаловаться Кери на то, что в редких перерывах между перестрелками он, как в тихую воду, ныряет от грохота распри в свои короткие сны, надеясь, что они будут спокойными. Но в них к нему навязчиво приплывает одна и та же огромная, в два человеческих роста, рыба. Одноглазая, она ожидающе округляет усатый рот, в глубине которого мутнеет жидкая чернота. Её немая просьба проста и понятна:

– За тобой я. Полезай. Сам.

– Не хочу, – упирается командир.

– Никто не хочет, – настаивает рыба, тяжело дыша ржавыми жабрами. – Будь человеком! Устала я. Самой бы умереть, так надоело вас таскать...

– Кери, к чему этот сон, который я уж запомнил наизусть? – спросил не попивший кофе артиллерист.

– Ты испугался до горячих колик в голове? – уточнила она. – Тогда – к долголетию!

Она не решилась сказать «к бессмертию». Чересчур красиво.

Командир доверчиво улыбнулся неоспоримости безыскусного объяснения.

Кери же, пережив мгновенный соблазн, устало подумала о том, что, возможно, пришло время заняться толкованием снов. Разумнее в условиях отсутствия хорошего кофе. Да и плохого тоже.

Настоящие профессионалы преуспеют в любом деле.

Чаепитие закончилось. Гости шумно, с ужимками выкурили до последней затяжки и все гонорарные сигареты. Пара оплывших свечей освещала и желтила их неумытые, грубые, казавшиеся пьяными лица.

Когда они с посвистом ближе к рассвету ушли, Кери вдруг почувствовала жалость к безвинным девицам, которым когда-то предсказывала судьбу, блондинкам, не любимым мамой с тяжёлым характером, метранпажу Орбе, изгоняемому президенту, объявленному тираном, оскорблённым мятежникам. И к себе.

Она безнадежно слушала, как по пустынному, непривычно мрачному, пахнущему холодом Гуджарати, в котором притихли даже бродячие собаки, метался напуганный выстрелами ветер и, прогоняя свой страх, нарочито громко стучал оставшимися без хозяев дверьми. Ветер бился в редкие уцелевшие окна и о чём-то отчаянно сипел в щелях холодной веранды Кери.

А ей слышалось непонятное: «Yo soy... Yo soy...»¹⁰ Ветер любит преграды, они позволяют ему быть услышанным.

Спать Кери которую ночь не хотелось. Широко раскинув руки, стараясь немного согреться, она быстро, но не очень принялась ходить по скрипящему полу комнаты, вокруг пока ещё не пущенного на топку полированного обеденного стола-крепёша, над которым,

¹⁰ Yo soy el viento... (Я – ветер...) – песня испанского исполнителя Р. Торребуно.

остывая и зябко сворачиваясь, обречённо опадали завитки выпцветающего белёсого дыма табака.

Высот лазурных аромат

Сегодня мало кто вспомнит, что загадочная, как блондинка в деревне, которой обеспечен успех и грех, вечная домохозяйка Хидеши предприимчиво решила стать практикующей знахаркой, когда, привычно расставив в непогоду лохань под протёки в своей ненадёжной крыше, наблюдала из окна с деформированным стеклом, прижатым к облезлой раме стёсаным штапиком с прячущимися в нём, как червяки в яблоке, мелкими чёрными гвоздиками, за возвращением домой после «гастрольной», как она её называла, попойки своего соседа – униформиста городского цирка Берду.

Одинокое бредущий под шквальным дождём, мокрый «до скелета», Берду внезапно напряжённо застыл в центре улицы и, плюща лицо, уткнулся им в мокрые ладони, как в холодное зеркало, безотрадно бубня что-то про свой... нос клоунский, красный как помидор.

Он трижды с хлюпающими охами-вздохами спросил себя:

– Ворчишь? Ворчишь? Ворчишь?

И сам же ответил:

– Значит, тебе, фигляр, есть о чём сожалеть!

Потом, явно веселея, Берду, как бесстрашный флибустьер, бросающий вызов бушующей стихии, открыто подняв видимое на расстоянии мыльно-размытым лицо, подставил его остро колющим каплям воды, стремительно падающим сверху.

Не испытывая унижения, униформист незаметно – в ливень это легко – обмочился и, разоравшись, громко убеждал спрессованную жидко-серую пустоту вокруг в том, что «эта вода – солёная как в море!»

В бьющем свете фар объезжающих его с бранными сигналами редких машин капли – инвентарь дождя – на мгновение вспыхивали со сдавленным, если уметь слышать цвет, криком, как крупные сколы оранжевого янтаря.

Показалось, под беспощадно секущим его дождём на улице он раскололся на... двух Берду.

Первый застыл призраком на месте.

Второй, бросив взгляд сквозь дождь и мокрое стекло в направлении Хидеши, резко сорвался с точки старта и побежал во двор. Бег его был отважен!

– О, ожил малахольный! – подумала, вслушиваясь в раскаты-подсказки грома Хидеши, время которой в грозу – такую каждый с годами считает неповторимой – складывалось из срывающихся с протекающего потолка крупных капель, тяжело тонущих в жестяной лохани-ловушке.

Именно в тот ненастный вечер наблюдений за Берду ей в голову пришла оригинальная идея по-знахарски объявить «Сбор» воды последнего дождя ноября 1971 года с лёгким ароматом лазурных чистейших высот сначала средством профилактически целебным (эффективно заменяющим уксусный налобный компресс при головных и глазных, «изнутри», болях), а позже – и гарантированно излечивающим от любых заболеваний. В том числе неизученных медициной того времени.

Первым и благодарным ассистентом Хидеши «по розливу и отпуску» стал насупленный после изнурительного, ради прибыли, воздержания от алкоголя Берду, «излечившийся» после трёхдневного курса регулярного питья дождевой воды от хронической боли в поджелудочной железе: *pancreaticum dolor*.

Терминами на латыни Хидеши согласилась снабжать педиатр районной поликлиники, недоучка Бэнда Иани, с ошибками выписывавшая их на пыльно-серых обрывках обёрточной бумаги.

Фармацевты всех близлежащих аптек люто ненавидели её! Нет, не за почерк. За таинственные, нечитаемые рецепты.

Кстати, спасаясь именно от их – фармацевтов – ненависти, она скоро и счастливо вышла замуж за лысого крепыша, без труда в первых же мощных объятиях убедившего её в том, что медицина – «это, птичка, совсем не твоё».

Он ещё шумно с сопением в интимной темноте повторял, как кирпичи укладывал:

– Ты – любовь! Ты – жизнь! Ты... Ты... Ты...

Пока, наконец, недоумевая, не дождался девственно ча-ча-чарующих откликов на латыни:

– In aeternum... In aeternum...¹¹

Все тогда, как принято, пожелали Бэнде счастья!

Все. Кроме детей, фармацевтов и Хидеши.

«Сбор», разлитый по первой дюжине литровых банок, «размашистая» аферистка Хидеши, как её называла ростовщица Аули (некоторые исследователи сходятся во мнении, что гениальный Гомер зашифровал особенности психотипов именно двух таких женщин в описании Харибды и Сциллы), вначале «от души» бесплатно раздала горожанам не из своего квартала – истинная слава уверенно приходит только из-за чужого угла! – умело подсаживая их на «уникальное мочегонное средство, обеспечивающее абсолютное здоровье». На годы. Впрок.

«Сбор» быстро закончился, но непостижимым образом успел зародить и укрепить веру в «лекарство», которого нет даже в Израиле, но «есть» у Хидеши.

Проведя мучительно-бессонную ночь, оценив наедине с собой на РАЗ-ДВА-ТРИ все дальнейшие деловые риски, Хидеши решила продолжить «служить» людям и дальше, за небольшое заслуженное вознаграждение выдавая простую воду из-под крана за «врачевательную».

Годы ведь иссушают людей. Это – РАЗ!

Она вспомнила, что соседи: то ли старик Ломбрэ, то ли дедушка Дво – рассказывали ей, как их кто-то ещё более древний мудро учил: «По вере вашей да будет вам!» Это – ДВА!

Вот и пусть, когда настанет пора болезни, долгой как последняя зима, верят! Это – ТРИ!

После этого всю мебель в её доме, кроме железной кровати, опирающейся в изножье и в изголовье на четыре ножки, блестящими наконечниками походившими на шлемы-шапелю средневековых пехотинцев, быстро вытеснил неисчерпаемый запас единственного средства магической медицины, хранящийся во вместительных вёдрах бутылочно-зелёного цвета, в молочно-белых кувшинах, а также в полных прозрачных графинах, бутылках и банках: обнаруженные сквозь стёкла окон с утра редящими в ноябре солнечными лучами, они открыто и тепло «переглядывались» со стенами в песочных обоях и, придавая загадочную текучесть оплётке кружев на них, делали «ощутимым» сам безмолвный воздух.

«Сборы» мгновенно появившихся конкурентов она и подавляющее большинство наивных горожан признавали подделкой зпт никаких лечебных свойств не имеющих тчк

Неверующим – смотреть компетентное заключение, находящееся в камере хранения морвокзала ласкового портового города Потти. Код 1939 – год рождения Хидеши.

Некоторые из конкурентов по-деловому просили «Сбор» взаймы: «Мы же свои люди! Вернём. С благодарностью! Двойной!»

Получив упрямый отказ, соперники, изводя себя бессильной завистью и намекая на неясность лечебного эффекта, который они называли «ни-ни: ни лучше, ни хуже», начинали зло распространять небылицы о целебных свойствах воды Хидеши.

¹¹ Навек (лат.)

Предпоследней была та, что утверждала: оригинальный «Сбор» «того» дождя был воздушен и, честно насыщенный газом, шипел, как знаменитый тут «Спецлимон» в бутылках с фольгированным горлышком, дефицитно-подотчётно выставляемых на свадебных столах.

Последнюю небылицу, заправляя прозрачную зажигалку-чиркалку бензином на Витринном проспекте, публике гогоча представил кляузник Раули Анда. Самоуверенный Раули не знал, что его, в отличие от Хидеши, ждёт разорительная неудача. И побои, безобразно размётывающие волосы на голове. Он кричал во всё горло:

– У Хидеши – дурная вода!

– Да?

– Нет!

В Верхнем квартале по улицам, которые вначале кажутся тупиковыми, но всегда к кому-нибудь да приводят, уже с декабря плотной габардиновой нитью для зимней пряжи трепетала, ведя к замшелым дверям подъезда дома Хидеши, очередь нервно обтирающих друг друга телами, враждебных ко всему внешнему, бесполох, потерявших всякую личную интонацию паломников, терпящих лёгкий морозец и нехватку воздуха в сжатой груди, но страдающих получить «Сбор». И – исцеление.

Будь эта нить боевым построением, то оно могло бы стать единственным во всей военной истории, в котором *agtière-garde* так открыто ненавидел свой же *avant-garde*.

Не жалующийся на здоровье и ставший «не за дорого» на правах друга детства Хидеши контролёром – организация со структурой! – посетителей художник Мераб в поношенном оливково-зелёном пальто вечерами взвинчено пенял Хидеши, что из этой очереди к ним приходят люди, не способные принять достойную его кисти портретную позу:

– Хотя бы как у дюреровских курфюрстов Саксонии!

– Эй, эти люди для счёта, а не для твоих «рисунков», – невежественно отвечала одетая в шафрановое, успокаивающе укрепляющее доверие «пациентов» платье Хидеши и, суется как жужжащая пчела, спешила удалиться от него, нудного, на покой.

Мераб лыбился вслед. У него, занятого, была уважительная причина «не рисовать» этой – она потом станет «той» – зимой.

Он щедрыми ложками сыпал сахар-песок в чашку с обжигающим чаем и всё реже видел при этом, как обречённые растаять бессчётные снежинки валят и валят над торфяным, охваченным рваным туманом, озером.

Когда, спустя пять (!!!) лет, в 1976-м у участкового капитана милиции Сору, потерявшего в один год отца и тестя, тяжело – диагноз деликатно опустим – заболела любимая за покорность официальная жена, он по скорбной просьбе отчаявшихся родственников «по её линии», забывших, что между милиционером и знахаркой был молодой, всем в квартале известный, грех, нехотя пошёл к Хидеши.

Родственники, беспомощно выкричав свой страх в её мятую бессменную ночнушку и сжившись в тишине с предрассветным отчаянием, подгоняли его в спину онемевшими указательными пальцами: поспеши, чтобы не пришлось тебе опять горевать: «я снова вспоминаю наших мёртвых»¹².

Нет, подозрения – профессия! – его не отпускали: одно средство лечения от всех болезней как одна отмычка от разных дверей? Разве так бывает?

Любой домовник бесстрашно, на «ты», посмеялся бы сейчас над ним.

Да и Хидеши, какая она, к чёрту, знахарка?

Он же её хорошо знал.

Капитан помнил, как они – ух, духи, помада, фрукты! – целовались.

¹² Пас О. Оборванная элегия.

Он помнил, как когда-то с подачи Хидеши весь Верхний квартал, язвительно сравнивая капитана Сору с одной крупной, не очень смышлёной птицей, за глаза, побаиваясь его нешуточной угрозы пропустить «каждого любого» как мясо сквозь тюремную решётку, прозвал его на местный манер Баклана.

Только бабушка Аджи в глаза смела безнаказанно говорить ему, что он, *mirove bi pistole* – «мужчина с пистолетом», и вправду похож на баклана.

В потёртой кобуре капитана Сору пистолет лежал редко.

Ни один из многочисленных богов Гуджарати, допроси их ночью в отделении сам пытливый капитан, не признался бы, почему всякий его нечастый приход во двор Хидеши, где жила и бабушка, совпадал с тем, что Аджи тщательно и, как ему казалось, демонстративно мыла и чистила старую мясорубку с изогнутой ручкой-вертушкой.

Выплёвывая крошки зубов, они (Боги!) кричали бы, что ничего об этом не знают, а случайности в твоём, «собака-капитано!», городе упрямы и бесконечно-вечны!

Пощади!

Капитан Сору, дьявольски издеваясь, послал бы их, как и всех смертных, к портному Ашику: тот мастерски использует швейную машинку с ножным приводом, так что с бормашиной – гр-гр-гр – с таким же ножным приводом справится не хуже лучшего стоматолога из поликлиники напротив его отделения милиции.

Слышите крики?

Уберите за собой зубную пыль!

А бабушка Аджи просто не терпела, когда железный шнековый вал её мясорубки и, особенно, мрачная, быстро забивающаяся унылым фаршем решётка жирно пахли сырым провернутым мясом.

Ну и что, что мясо в её доме ели редко.

Крупный мужчина с кобурой, широкие, «под погоны», плечи которого идеально воспроизвели физически безупречную чёрно-синюю, по цвету формы, горизонтальную прямую, в очередь, конечно, не встал.

Никто не возражал. Естественно.

Бабушка Аджи возилась с мясорубкой. Естественно.

Изрядно измученная просительница на затоптанной лестнице в восьми телах от заветной двери Хидеши, завидев форменную фуражку, начала «признавательным» шёпотом, вроде как ни с кем, делиться выстраданным сомнением:

– В городе говорят, эта вода тоже пахнет хлоркой...

Публичное сомнение должно быть публично же развеяно – местное представление о симметричном ответе! Оправдываться здесь не принято. Ни перед кем.

Сообразительный Мераб, поклонник симметрии в живописи, предъявил «подлюке» аргументированный ответ:

– Глупая, думаешь «ОН» «ТАМ» воду не очищает?!

Мераб и не подозревал, что таким образом дополнил ещё одним доказательством существования Бога пять предыдущих, принадлежавших Фоме Аквинскому.

Очередь, ещё более почернев осунувшимися лицами, поддержала художника-«бого-слова» резко суженными глазами.

Вышла – барабанная дробь! – и сама когда-то так ловко себя придумавшая Хидеши, ныне занятая мыслями о целебных свойствах талого, редкого тут снега.

Потопталась на месте: топ-топ – показывая, как зябко её, знахарке, ногам.

Она вкусно объедала сваренную в «Сборе» – смотрите, люди, его у меня много, хватает даже на приготовление пищи – розовую тёплую сосиску.

Встретившись взглядами с капитаном Сору – а, табак, водка, пот! – мстительно изобразила презрительное удивление. Вроде, по отношению к сомневающейся.

Желчная и кичливая Хидеши насмешливо-громко, чтобы слышали «всея», послала её к «шарлатанам-травникам»:

– Иди к ним! Иди... У них чёртополох мёдом пахнет. Густо, дешёво. Как говном!

– Ом! Ом! Ом! – гулко отвечал Хидеши мраморным эхом столетний стылый подъезд, привычный к отсутствию логики в словах и действиях, как своих жителей, так и их посетителей.

Герои погибают худыми

В Верхнем квартале Гуджарати серьёзные пожары с пламенем, злобно и без разбора рвущим один за другим стены, перекрытия и крыши домов малой этажности, с чёрной гарью и сажей, ужасающими всегда беспечное тут солнце, и невыдуманной угрозой людям случались крайне редко.

Разве может здесь какой-то захоластный пожар, поставив всех на уши, изменить привычный ход «однообразной вечности»¹³, утверждённый ещё в самом Начале, на самом Верху?

Славься, Святой Иэсо, нет!

Поэтому в самом центре квартала, несмотря на энергичный красный и бодрый белый цвета, в которые были окрашены выходящие на улицу широкие деревянные ворота, и день и ночь тихо дремала с перерывами на еду и пиво пожарная часть №6. С бесполезной карликовой каланчой и неухоженной, тронутой плесенью, ленинской комнатой, где начальник-гедонист периодически, голосом, разведённым скукой, вынужденно и по-быстрому проводил отвлекающие от небогатых радостей жизни 1979 года тоскливые отчётные мероприятия. Чуть оживляли их только «непротокольные» замечания «товарищей» участников:

1. Задымление в индивидуальном подвале старьёвщика Мирзы К. Устранено, несмотря на противодействие хозяина, мешавшего работе пожарного расчёта вызывающей песенкой «Меня зовут Мирза, работать мне нельзя...»

(Старый хрыч полностью охренел. – Замеч. участника.)

2. Возгорание чердака на ул. Жертв Интервенции в результате запуска малолетками так называемых «ракет» – туго скрученной старой фотоплёнки, завернутой в серебристую фольгированную бумагу и подожжённую с одного края.

(Чёрт, пробовал, у меня ракета не взлетает. – Замеч. участника.)

3. Два возгорания мусорных урн на Витринном проспекте. Ликвидированы в кратчайшие сроки. Отличился пожарный Гирэ А.

(Поймать бы урода, который бросается непотушенными окурками. – Замеч. Гирэ А.)

Одних людей природа выковывает. Других – выдувает. Гирэ был из вторых.

Женщины, видевшие в тот по протоколу день Гирэ на Витринном проспекте, рассказывали о нём как о «щекастом пожарнике».

Мужчины и школьники-озорники, отмечая его убедительную неуклюжесть, рассказывали о нём как о самом «жопастом пожарнике».

Две правды. В Гуджарати их бывало и значительно больше.

К объёму тела увальня Гирэ, похожего на экзотического борца сумо, окружающие, пространство и потенциальный противник – огонь относились с нескрываемым любопытством.

В карауле Гирэ неустанно поддерживал свою форму, выбирая питание в каталогизированном, устоявшемся за много лет меню.

В день зарплаты это был предпочитаемый ассортимент расположенного неподалёку ресторана «Алхино».

В иные дни это был приевшийся, но обильный рацион: яйца всмятку и щедро обваленные в муке маломясные котлеты, завернутые в газету «Гуджаратский коммунист» – из буфета театра юного зрителя, заходя в который Гирэ, как будущий отец, всегда успевал дать себе слово, что воспитает будущих детей культурными людьми.

Неизменной была лишь точка покупки пива с территории левобережного завода, который Гирэ вместе с боевым расчётом посещал согласно правительственному постановлению

¹³ Пас О. Нобелевская лекция 1990 года.

«Об укреплении мер противопожарной безопасности» не только в населённых пунктах, но и – о, мудрость вождей! – на объектах промышленности.

Разливая бурливое пиво по наполняющимся янтарным светом прозрачным поллитровым банкам из-под «закруток», заменявшим объёмистые кружки, пожарные выглядели как искушённые алхимики, добывающие эликсир здоровья, который, как только им было известно, несостоятелен без оказывающего очищающее воздействие на органы пищеварения, печень и кожу жёлтого цвета, придававшего к тому же определённый уют обшарпанной обстановке комнаты политпросвещения.

По-иному, но так же профессионально пожарные относились к водке. Она нейтрально бесцветна. Значит, никакого воздействия на организм не оказывает. И всегда «чуток» доливается в пиво как лучшее «фармакологически» связующее вещество.

Когда Гирэ и его закадычные друзья Рамо, Пивич, Юза и Васка в бурном застолье под настенными часами, стрелками походившими на карающие мечи, с чеканным тиканьем рубившими воздух, напитанный разящим запахом ног, разутых после августовской носки «дежурным» днём сапог-кирзачей, и потёртым портретом вождя мирового пролетариата плохого печатного качества, сплочённо, после затянувшегося глотка, отлипали губами от прохладного стекла банок, их переполняла смысловая общность:

– Счастье – это «нечто, которое постоянно ускользает!»

Они и не подозревали, что эмпирически приходили к выводу, который француз Мишель Фуко сделал в своей интеллектуальной книге «Археология знания» лет этак за десять до них.

В день той зарплаты, когда полный пьяного духа пустословный мужской гомон «обо всём» начал было устало увядать, говорун Рамо, необъяснимо разнервничавшись, задал застолью высокую драматическую ноту:

– Опасная у нас работа, братья! Героическая!

Гирэ, Пивич и Юза вежливо застыли в ожидании продолжения то ли тоста, то ли размышлений тощего, как рыба-игла, Рамо.

Только Васка, пытаясь заполнить показавшуюся ему неуместно скорбной паузу, ткнул крепким указательным пальцем, пахнущим табаком, в мякоть подсохшей бледно-сливочной дольки дыньки со следами утренних надкусов и неловко предложил Рамо занюхать ею пиво с водкой после того, как тот всосёт в себя очередную банку.

– В любую минуту можем погибнуть... – продолжил Рамо, сконцентрировавшись взглядом почему-то именно на Гирэ.

«Если вдруг погибнешь ты, „хоз“ – толстяк, как мы одни – а больше некому доверить! – со всеми заслуженными последними почестями герою пронесём по всему городу гроб с твоим тяжеленным телом?»

Было очевидно, что обескураженный Гирэ всерьёз задумался.

Всхлипывая и ещё сильнее пьянея от невольной, по подсказке, нахлынувшей печали, он представил, как друзья с согбенными, как у носильщиков мебели, спинами, шатаясь, вчетвером, сжав челюсти и искажая от напряжения лица в гримасах нечеловеческого страдания, на ноющих от боли братских плечах, изнеможенной шаговой процессией несут его гроб: широкий, пахнущий свежей необструганной древесиной, которую не успели ни покрасить, ни отлакировать. Настоящий подвиг всегда внезапен!

Гирэ, как в доспехах, лежит в нём в доблестной, из грубого полотна, парадной форме пожарного.

И ничего, что кажется, будто из неё он вырос ещё при жизни.

Торжественно застывшее октябрьское (оно не такое жаркое), сияющее как правильно выложенный «синий кафель» небо, украшенное белой виньеткой облаков, «из высока» любуются элегическим мужеством (Гирэ примерил пару шрамов-штрихов, выбрал поблагоднее) его чуть опавшего после смерти лица и ищет золотой отсвет блестящей пряжи широкого, как

трюмный обруч дубовой бочки, ремня. С заткнутыми за него огромными шершавыми крагами, Рамо, Пивичем, Юзой и Ваской беспшибашно признанными «при пожаре» бесполезными.

Незнакомые покойному люди клянутся на крови быть вечно благодарными за то, что сошёлся ради них Гирэ-воин в последней беспощадной сече с испепеляющим всё живое яростным огнём...

Двести тысяч искренне зарёванных глаз, включая и застенчивые глаза трепетной рыженькой «Карамельки» – несмелой страсти-муки Гирэ! – обильно проливают прощальные, ранящие кожу кристаллами соли слезы.

Они текут по невидимым в завешенных тканью зеркалах, расцарапанном в кровь лицам.

До искусанных в кровь губ.

И отстаиваются в подставленных, дрожащих от душевной боли, побелевших ладонях, сложенных крепкими и утлыми – разными – лодочками, мимо которых величественно плывёт ногами вперёд Гирэ.

Истинный траур на вкус – солёный.

Свежий красный – его второй, после чёрного, цвет.

Что-что, а оплакивать-причитать в Гуджарати всегда умели отменно!

Старики, расчувствовавшись, убеждали друг друга, что только ради этого стоило умирать именно здесь.

Вопрос Рамо вызвал каверзную заинтересованность на лицах друзей Гирэ:

– А, действительно, как?

Теперь уже и Васка, и Пивич, и Юза с весёлой безжалостностью оценивающе всматривались в лежащий на массивных коленях огромный, в плотных жировых складках, спрессованный живот насторожившегося Гирэ.

Что-то случилось со смысловой общностью!

– Может, его кремировать? – безрассудно предложил Васка и, сделав последнюю затяжку, стряхнул на пол дымящийся пепел с выкуренной «под корень» сигареты.

– Остолоп! Кого?! – вспыхнул Рамо. – Пожарного?! *Morior invictus!*

Гирэ некстати вспомнил, как его добрейшая бабушка, очищая к отвару в бульоне от остатков волосяного покрова ощипанную вручную безголовую курицу, слегка поджаривала её, осторожно придерживая за лапку, на сине-жёлтом, быющем из-под прицела чугунной конфорки пламени газовой плиты. Чёрные волоски на жухлой выпотрошенной тушке в пупырях кротко, с быстрым треском и беглым жжённым запахом плоти выгорали до самых сизых пор.

«Отыметь мне самого себя. Не сможем!» – Рамо окончательно впал в неожиданную панику.

«Пошли!» – всех за собой увлёл стремительный Васка, привычный, как водитель пожарной машины, решительно разматывать узкие улочки и вихрем носиться по ним.

Друзья бездумно потащились за ним на задний двор дежурной части, где ещё днём, в самое пекло, забавлялись тем, что, «перекидывая» струю воды через невысокую крошачую кирпичом стену, поливали из брандспойта «погорельцев»: спасавшегося от зноя старика Ломбрэ с высохшим лицом в дряблой майке и окружавшую его вернувшуюся из деревень малышню в трусах. Вместе, как летние опята – большой и малые – на опушке прогретого солнцем затерянного леса, они наигранно замирали в ожидании «дождя», который накрывал их серебрящимися спелыми брызгами воды и общим, полным жизни смехом.

Пока босые, по пояс голые (полулюди-полупожарные), возбуждённые друзья, пьяно толкаясь, шлёпали к выходу, скрипя расшатанными половицами, Пивич, горланя так неистово, как будто оглушённый и тронутый вибрацией Гирэ в самый благовест стоит под звонницей колокольни беленой с небесными маковками церкви в двух трамвайных перегонах от пожарной части, клятвенно обещал ему, когда «ЭТО» случится (Пивич и до этой ночи бессознательно верил в предначертание), он сам, лично, выберет и купит для приготовления «шилаплави» –

поминального блюда самого дорогого, из бесцеремонно, для отличия в цене, меченных по грязной нестриженной шерсти над курдюком набрызганным пятном договорного цвета малярной краски, жертвенного барана с Лачавского скотного рынка.

Гирэ, преодолевая безотчётную тревогу, нехотя вышел за ними в темноту ночи, которую уже пару секунд как тщательно изучал Васка.

– Надо уметь смотреть во мрак. Неправда, что в нём ничего не видно, – сообщил Васка и, не дожидаясь, пока глаза к нему попривыкнут, щёлкнул выключателем наружного фонаря капсулевидной формы в железной, напоминающей каторжную, оплётке.

В разжиженной чахлым освещением по-летнему сухой полутьме, чуть прикрытый сорняком таинственно и зловеще, как любые останки, хмуро лежал и ощущаемо пах собачьей мочой и карбидом полуразобранный ржавый рамный остов некогда бывшего на боевом вооружении пожарного автомобиля на базе ГАЗ-53. Со «скелетом» кабины и четырьмя покорёженными с изжёванной резиной дисками, основательно ушедшими в дёрн. Подробная техническая иллюстрация явления, известного как «усталость металла».

«Веса в нём – до хрена! Подыдем его – справимся и с похоронами Гирэ!» – Васка, проявляя завидную способность к действию, метнулся к инвентарному щиту.

Снял с него пару лопат. С деревянными черенками. Подумал. Ругнулся. Отбросил.

Затем схватил и притащил два цельнометаллических багра без наконечников, примерил их к ширине шасси, всё-таки попробовал поддеть ими, короткими, передний и задний мосты остова.

Подумал, чертыхнулся и расставил по концам рамы себя, Рамо, Пивича и Юзу, показав всем хват руками.

Гирэ, остро чувствуя незащищённость, ошеломлённо глазел на друзей и тяжело, трагически лежащий мост.

– Вира!

Команда Васки, несмотря на коллективный затаенный стон, сопровождающий искреннюю попытку осуществить технически сложный синхронный рывок, выполнена не была.

Мост издевательски продолжал лежать на земле, непочтительно и образно демонстрируя Гирэ вероятное развитие неизбежных в любом (героическом ли, естественном ли) случае ритуальных событий.

«А ещё гроб с крышкой веса добавит...» – Васка, смиряясь с арифметическим фактом, калькулировал вслух и в итоге, обращаясь к скованному первобытным страхом Гирэ в третьем лице, простодушно подытожил:

– Он не готов!

Мгновенно огрузневшие мужчины на вялых ногах с изнурённо, плетью обвисшими руками, скрутив грудь и обильно сипло оплёвывая сухостой и мусор, в изнеможении шумно пытались продышаться.

Продышались. Застыли как робкие пилигримы на перепутье – где мы? – залитых тишиной неизведанных троп под матовым, словно заштрихованным в тетрадном листе школяром кружка рисования Дома пионеров по соседству (ни разу не горел) липкой чёрной гуашью трёхчасовым ночным небом, в августе низким настолько, что в него легко впечаталась невидимая каланча.

Казалось, ещё чуть-чуть и они, обречённо сделав выбор, прощальной трусцой поплетутся обходить раму списанного автомобиля, как гроб на панихиде, против хода часов, чтобы угнетёнными трагической вестью голосами принести искренние соболезнования выглядевшему тут потусторонним Гирэ в связи с... его же кончиной.

Распалённый Гирэ орал в полный рост, горлом, как лужёной трубой, кверху! В мгновение почернел, возможно, даже стал ядовитым, язык его зияющего рта.

Жертвенность сменилась уничтожающим гневом!

Он крыл друзей коренными откровенными ругательствами так изощренно, что казалось, они сначала тяжело взлетают вверх, а затем стремительно и сокрушительно падают на беззащитную горстку растерянных пожарных убойными бомбами, попадание каждой из которых он, мститель, торжествуя, отмечал боевым кличем:

– Ткан! Ткан! Ткан!

Почему «ткан»? Город такой, фонетически – вольный! Кто как хочет, так и «звучит».

Даже по железному мосту ГАЗ-53 прокатилась заметная детонация.

– Су! Су!!! – Рамо после первого же «матюка» припрятался в тени и из неё, имитируя шелест мятой травы, в очевидном смятии по-детски пытался успокоить разбуянившегося сверх ожидаемого всегда такого безобидного Гирэ.

Пытаясь как-то спастись от ора Гирэ, напуганные угрызениями совести Васка и Пивич, трезвеющие лица которых демонстрировали запоздалое раскаяние в содеянном, пятились назад и тщетно закрывали кулаками уши. Друг другу.

Юза, чокнутый, вдруг вспомнил и громко известил друзей, что «у Ван Гога вон там» – на себе не показывают, и он, почесав нос, как будто затачивая его, пьяно-нагло ткнул им в направлении быющей правой скуловой дуги Гирэ – «ухо было отрЭзано».

– Ткан-ткан! – мощно «прилетело» Юзе.

Стало очевидно, разлад требовал примирения! Через соответствующие тосты, корректирующие действительность. Тут ведь даже меж врагами норма преломить выпечной хлеб, солёный от пота своих создателей, с теми, с кем ещё недавно бесшабашно ругался в подлый мат, рассекая тягучую плоть аж до крови.

Гирэ, слушая кающихся друзей, примирительно-прощающе кивал в ответ, но думал только о «Карамельке», ему не давало покоя воображение, настойчиво подсказывающее, как неловко будет перед ней за выпирающий из гроба громадный живот. Он, лгун, чтобы не вызывать подозрения, прилюдно веским тоном всегда звал её «сестричкой», но тайно «не по-братски» подглядывал за ней всякий раз, как она, пламенея оранжевым сиянием пышных волос, радуя утро лучезарной улыбкой и гибкими извивами атласного девичьего тела, шла мимо его покорённой каланчи. Ради неё он, толстяк, мог бы на спор заесть банку пива завитушками металлической стружки. И ничего! Но...

– Придётся похудеть! Придётся...

Все вместе пожарные звучали как гобой и сумбурный оркестр.

«Собери булжники в рюкзак и начни по утрам пробежки „с утяжелением“. Лучше в гору. До кладбища. И – обратно. Сбросить всё надо быстро, вдруг всё-таки времени у тебя нет!» – Словно угадывая его мысли, неуёмный Рамо неоднозначно приободрил Гирэ.

– Встретишь Лёву-могильщика, с мотыгой через плечо ходит, скажи ему, что ты – мой брат!

– Нашёл, кого в ночи вспоминать! – Васка, возмущённый так искренне, как будто это не он устроил репетицию похорон Гирэ с дублёром-остовом, резко оборвал Рамо.

– Мы с ним... – Рамо, изображая невинного агнца отца Абрама, настырно предпринял попытку придать вес и значимость своим отношениям со всем известным Лёвой, как если бы тот был героем древних шумеров Энлилем, создавшим по преданию своей могучей мотыгой ни много ни мало весь белый свет.

Но теперь уже Пивич, молча, взглядом оборвал его.

И Юза готов был оборвать его.

На рассвете благоразумие, бывает, возвращается даже к самым растревоженным балбесам.

Ландыши бабушки генерала

Не у всякого действующего генерал-майора советской милиции была жива и здравствовала в уме и твёрдой памяти бабушка! Будь она по материнской или по отцовской линиям.

Пока родишься-выучишься, пока дослужишься до сияющего кителя со звёздами на погонах, её, увы, нет.

Жизнь...

Милиционер Нурвин был единственным на весь Верхний квартал Гуджарати генерал-майором, а его бабушке спокойно исполнилось девяносто семь лет: женская линия, ранний брак, в нём – первая дочь, у неё ещё более быстрое, в подражание молодой маме, замужество – не частая, но простая в этих местах арифметика.

Каждый день, когда влажные на рассвете красные крыши невысокого города, благодарно отсвечивая набирающему силу солнцу, согревались в его крепнущих лучах, и начиналась с первой чашки чёрного, с пенкой, кофе работа без каких-либо выходных генерал-майора.

Она была немислимо тяжела: преступники, без конца оперативные совещания, соблазн превысить полномочия, внутренняя борьба с личными интересами и, конечно, страх перед неизбежным социалистическим наказанием в случае победы личных интересов.

Запёшь от такой жизни.

Как сообщают хроникёры и сплетники, помимо кофе он пил круглосуточно то водку, то вино, то коньяк, то всё вместе.

При этом, закалённый напитками умелый генерал-майор, оставаясь внешне трезвым, всегда монотонно перепивал всех.

Какие только мужественные люди не оседали безжизненными валунами за столом после попойки с ним!

Лёгкое тайное наваждение с ним случилось только раз. После зимнего, как раз в связи с присвоением ему звания генерал-майора, громозвучного банкета.

Он тогда, оцепенев от неожиданного первого головокружения, смотрел в окно на редкий и робкий в южном городе снег и видных ворон, наглыми лапками расчёркивавших его чистоту торопливыми каракулями.

После чего дал себе слово офицера, что никогда никому не признается, что видел чёрные самолёты в рухнувшем белом небе. Но скоро, преследуемый воспоминанием о том дне, как ребёнок, рассказал обо всём бабушке: она ведь единственная, как могла, боролась с его тягой «к погибели» через алкоголь. Остальные: мама, жена, два очень взрослых сына, а главное, он сам – предательски и давно сдались.

Собутыльник генерал-майора полковник А. считал, что если женщина мило поправляет шлейки бюстгалтера под воздушной блузой в присутствии мужчины – это знак доверия! С него могут завязаться отношения. Он, округлив пьяные губы, полез под форменный китель двумя пальцами правой руки «показать», как она это делает.

Собутыльник генерал-майора подполковник Б. считал, что если женщина торопливо поправляет шлейки бюстгалтера под весомой блузой в присутствии мужчины – это жест пренебрежения! Полного! Так не обращают внимания на мебель. Он, стянув пьяные губы, полез под форменный китель двумя пальцами левой руки «показать», как она это делает.

У него это получилось как-то правдоподобнее.

Разгорелся нешуточный хлёсткий спор.

Бес разных мужских слов попутал милиционеров.

Чтобы не доводить дело до ссоры и далее до рукопашной или дуэли, оба призвали в судьи генерал-майора, в служебном кабинете которого и разворачивалось обсуждение этого вопроса, как здесь говорили, «за коньяками-маньяками»: их неисчислимы бутылки, как на надёжно

пополняемом складе, хранились в тяжёлом сейфе, предназначенном для заточения разных уголовных дел в картонных папках, укутанных слоями мрачной пыли с безнадёжным запахом срока давности.

Генерал-майор выразительно и отчётливо трезво произнёс, как верный пароль спорщикам сообщил:

– Ландыши!

Выяснилось, их – в изумрудно-белом букете – надо красиво «со взорами и дыханием» подарить женщине в любом – первом или втором – случае, чтобы или поблагодарить за доверие, или обратить на себя внимание!

Примирительно дыша, милиционеры вернулись к тихим словам и выпили за ландыши!

Некому было в тот вечер сказать офицерам, что тот знак/жест женщины может быть просто бессознательным...

Полковник, заполняя перерыв между тостами, рассказал, что ездил на море «нэ-с-женой» и как-то ближе к вечеру в затяжку нетерпеливо лизнул ей плечо после того, как она, поплескавшись в сияющих волнах, вся в капельках воды вышла к нему, бесформенно оплывшему обгоревшей свечой на песчано-ракушечном пляже.

– Кожа была солёной! – полковнику очень хотелось, чтобы подполковник ему завидовал, как старшему по званию.

Когда в кабинете раздался телефонный звонок, полковник и подполковник придорожными валунами уже окаменели вместе со стульями подле стола и его не слышали.

Генерал-майору сообщили, что его бабушке стало внезапно настолько плохо, что весь Верхний квартал уже тревожно сбегается к её дому. Обычная, из века в век, неказистая церемония местных: чуть что, собираться возле чьего-нибудь дома – то ли спасать, то ли громить. До последнего момента, а там как сложится, этого не знает никто.

Генерал-майор мчался на служебном авто сквозь красный слепящий свет светофоров, беспощадно, как обречённого коня, «пришпоривая» (Быстрее! Быстрее!) своего тюху-водителя.

В дом он входил, как ему казалось, чеканно, твёрдо, даже не шатаясь.

Но все встречные, кроме насупленных детей, почему-то, опасливо втягивая в себя животы и пряча взгляд, молча, мгновенно расступались перед ним.

– Чёрт, опоздал! – генерал-майор почувствовал горечь вкуса меди во рту и готов был, как и все внуки до него, обречённо узнать, что вот и его бабушку «никто не вылепит... вновь из земли и глины»¹⁴.

Но старушка, маленькая и хрупкая, как фарфоровая выцветшая игрушка, лежала на спине, склонив головку набок, и смотрела на него живо, с явным интересом.

– Пил?

– Нет!

– Врёшь!

– Чуть-чуть...

– В стельку! Я же вижу!

– С чего ты взяла?

– Трезвый внук не придёт проститься с бабушкой с табельным, наизготовку, пистолетом в руке.

Раздражённая бабушка генерал-майора прикрыла глаза, то ли чтобы притвориться спящей, то ли чтобы на секунду отлучиться из настоящего в то благословенное время, когда её внук был ещё таким маленьким, таким трогательным, таким прелестным! Как ландыш...

¹⁴ Целан П. Псалом.

Небо ближе к крышам

*Сила влияния эпиграфа меньше силы влияния эпитафии
на величину вечности. Но число эпиграфов всегда равно числу эпитафии.*

#
Fenomenologia, неизвестный автор

Перед оглушающей ссорой в доме часто стоит напряжённая тишина.

В тот поздний вечер её, как могли, старались не нарушать Токэ Делинги и его старшая сестра Бана, ассимилировавшиеся гуджаратцы немецкого происхождения, никогда в жизни не слышавшие героических песен о Зигфриде.

Пьяный до отсутствия связных мыслей, Токэ щедро дышал хриплыми запахами любимых блюд духана «Тросы», но старался поменьше передвигаться по скрипучему квадрату их совместного с сестрой домика, давно и незаконно поставленного на крыше трёхэтажного старого здания в Гуджарати, в самом конце улицы, названной Поклонной. Она натужно подпирала Чистую гору, подымаясь в которую горожане преодолевали настолько крутой угол наклона, что казалось, они кому-то церемонно кланяются на ходу.

Задняя дверь дома выходила в свободное пространство на соседнюю крышу, где изжёванный похмельем Токэ мог по утрам посидеть «на диете солнечного света», как говорила, смеясь и тряся сдобными подбородками, соседка Илала.

Раздражённая Бана с видом «я здесь одна» занималась поздними хозяйскими делами. Её муж, глухонемой грузчик и добряк Сокило, отрабатывал вторую смену на городском мясомолочном комбинате имени итальянских борцов за права трудящихся Сакко и Ванцетти.

Дочь Лисо, зрело шуршавшая при ходьбе трущимися колготками на мясистых, не очень длинных ногах, состояла в благополучном и после медового месяца браке с заведующим пунктом приёма стеклотары Джонни Г. и счастливо не жила, по её выражению, «в этой голубятне».

Токэ неохотно боролся с приступом назойливого жора и рассчитывал победить его с помощью «заготовок на завтра», которые Бана утрамбовывала в маленький холодильник «Юрюзань», исполосованный ржавыми рубцами на бежевом корпусе.

«Сестра моя!» – собравшись, ласково-дурашливо начал было он и вместе с тишиной пожалел об этом. Бана превратилась в «вербальный ураган», сила и продолжительность которого разбросали биографию Токэ как вещи при внезапном обыске.

«Босяк, ты хочешь кушать? Расколоться твоей голове! Тебе сорок лет. Почти. И что? Два туманных, невнятных брака. Ни одного ребёнка. Три года за хулиганство. „Черный день“ не за горами. Тёрщик-мекисэ в мужском отделении бани №3. Массируешь чьи-то жирные волосатые туши и ляжки. Пьёшь! До работы. Во время работы. После работы. Вместо работы. Друзья – неудачники. Проклинаю поимённо! Уличный „гиз“ – псих Гулбаз, спекулянт мороженым Дубара, трамвайный бездельник Дулик и „коллэга“ по работе, непросыхающий Шуша».

Раздувшийся Токэ зло перешёл на пропитый оборонительный бас: «Mit Gott für König und Vaterland!»¹⁵ – и бросился на крышу влом через заднюю дверь.

Историческому девизу на немецком его научил художник-урбанист Мераб, регулярно приходивший к Токэ в баню «отдохнуть». Когда трёшь спину образованному человеку, всегда есть чему у него поучиться. Токэ, не до конца сознавая смысл выражения, всегда чувствовал его фонетическое созвучие своему настроению в минуты яростного возбуждения. Как сейчас.

Железная крыша бесцеремонно, громко отсчитывала его шаги. «Твой маму!» – Токэ встал. Крыша затихла. Готовясь закурить, он оторвал фильтр у сигареты. Чиркнул спичкой,

¹⁵ С Богом за Короля и Отечество! – прусский военный девиз.

с головки которой вспорхнула запахом сера. Небезопасно поднёс её к потеплевшей черни жёстких усов. Отвёл взгляд от огня. Затянулся и...

...Из-за левого угла перекрестья Поклонной с Витринным проспектом неожиданно и беззвучно вынесло одинокого всадника. В по-уличному напряжённом освещении его силуэт казался пугающе бесформенным, струящимся по воздуху.

Подчинив коня и вытянувшись в стременах, всадник цепко просмотрел насквозь вверх беззащитную улицу, зажатую с обеих сторон неровными линиями робких домов, вдоль которых тихо дремали кряжистые, неуклюжие деревья.

Он оглянулся и чётким движением вытянутой вперёд руки подал кому-то невидимому за углом уверенный знак. А сам резко сорвался с места и помчался против подъёма, азартно, в осязаемое удовольствие, джигитуя на скаку.

Разворачиваясь левым крылом в низину, в улицу так же беззвучно вбегала, подгоняемая сзади и сдерживаемая от расползания по бокам всадниками конвоя, босая колонна обнажённых людей. Тысячная. Трясущаяся. Спрессованная телами.

Впереди – мужчины. Нос к затылку. Ряд за рядом.

За ними – женщины. Грудь к спине. Ряд за рядом.

Дети. По росту. Не крича. Нельзя.

Последними – старики. Подвисая друг на друге. Плотно. Жалко.

На бегу они зажимали себе рты и носы руками. Никто не решался отвести их.

Молодые женщины, в которых стыд умирал медленнее, ладонью свободной руки прикрывали низ живота.

Бегущие передёргивали плечами. Неестественно. Судорожно. Обречённо. В одну сторону! В другую! Порой их движения синхронно совпадали. Тогда страх и унижение обретали чудовищно безупречную хореографию.

С крыши Токэ не мог видеть, что спины впереди бегущих предупреждали тех, кто бежал следом, выжженным тавро с яркой краской, втёртой в красные, запёкшиеся рубцы: «Без приказа не дышать!»

Глаза людей бело-красным пульсом выбивались из мертвеющих орбит и рвались наружу.

Всадники конвоя через шаг-два свирепо ставили коней на дыбы, наслаждаясь тем, как утратившие волю животные свинцовыми передними копытами, натянутой скорбным атласом грудью нависали над стелившимися по земле людьми. Кони беззвучно, в белую, нестертую резь коренных и клыков, безнадежно скалились в растерянное чёрное небо.

Скос крыш скрывал от Токэ часть происходящего. Но он видел, как, вернувшись к разрываемой жаждой воздуха колонне, главный всадник демонстрировал поперёк переднего ряда безупречную выездку. Затем встал. Паясничая и дразнясь, закрыл ладонью рот и нос. Чуть выждал. Резко сбросил руку вниз, запрокинул голову вверх и, широко растянув свободный рот, что-то неслышно прокричал.

Это был приказ!

Срывая ладони с онемевших ртов, люди зубами вцеплялись в спасительный, долгожданный вдох. Носами пробивались к воздуху сквозь вонь пота загнанных тел, мочи и выделений, в которых они так долго бежали. Или жили.

И один вдох бывает растяжим как жизнь. В его начале всегда кажется, что впереди ещё есть время...

Токэ ощутил, как табачный дым, раскаляясь, рвётся из него раскалённым выдохом.

Когда он, подавленный, вновь решился посмотреть вниз, улица была пуста.

* * *

От паркетного пазла коричневого, чуть скользкого пола в кабинете врача-психиатра с большим опытом Льва Михайловича Минахи свежо пахло жирной натирочной мастикой. С подоконника в кабинет, не смущаясь, зелёным цветом пышной листвы деревьев заваливалась летняя беспечность.

«Что ж, друзья, действительно, редкий случай!» Втайне мечтающие о международном признании вне социалистических стран, молодые врачи, участники консилиума и коллеги Льва Михайловича, в три белых халата, без шапочек, уважительно застыли в линию.

С трудом трезвый Токэ чувствовал себя неудобно. От него исходил резкий двухкомпонентный запах новизны. В нём угадывались клей и кожа «представительских» туфель, надетых в первый раз. До того, как они натрут мозоль. Он сидел в депрессивные пол-оборота вправо на ореховом венском стуле с инвентарным номером 196, судорожно вцепившись снизу руками в обод.

Бана, как и полагается просительнице, держалась ближе к усталой двери с металлической шатающейся ручкой и огромной, «не по ключу», замочной скважиной. Два дня она потратила на поиски «среди знакомых» – спекулянтка Зиппо, портной Ашик, сержант милиции Ёзик и контролёр ТЮЗа Циала Вениаминовна – кого-нибудь, кто смог бы устроить для Токэ приём именно у Льва Михайловича, практикующего в крупной больнице, напротив стелы, прозванной в лечаемся народе памятником кебабу.

Нашла!

Запойного брата от видений, пока они не стали навязчивыми, надо было спасать.

Лев Михайлович без особого пыла докладывал, что, вопреки учению К. Юнга, «классификация объясняет индивидуальную душу», которую одолевают панические видения апокалиптических картин бренности земного существования. И не обязательно по причине алкогольного галлюциноза. Эти видения в их современной форме возникли и развились после Первой мировой войны в странах Запада. Они характерны для капиталистической формации, которая исключает уверенность человека в завтрашнем дне, насаждает подчинённость судьбе, а также технически и медикаментозно эксплуатирует «первобытный мир бессознательного».

«Но чтобы у нас, в Советской республике?» – как-то без убеждения недоумевал Лев Михайлович.

«Вот и „чёрный день“», – обрывки мыслей Баны полоскались как вывешенное ею бельё в ветреную погоду. Встревоженная дверь, меж тем, вслушивалась в чёткий марш неизвестных шагов, приближающихся из дали больничного коридора.

* * *

Вошли двое, в костюмах и с вопросами.

У одного в нагрудном кармане белой сорочки лежали и непартийно краснели пачкой сигареты Marlboro.

У другого на руке, при движениях, убегали от левой манжеты и возвращались обратно японские часы Casio с калькулятором. На металлическом браслете.

«Кто из вас Токэ Делинги? – формально, с ходу разобравшись в обстановке, спросил курящий. – Мы из КГБ. Капитан Эскуча, майор Хаке». Бана начала отчётливо различать оттенки «чёрного дня». Токэ никогда (даже в тюрьме) так остро ещё не ощущал переменчивость среды.

Допрашивал Токэ обладатель кожгалантерейного портфеля, командированный из Москвы в Гуджарати, по северному бледный следователь по особо важным делам КГБ СССР

подполковник А. С. Лепак. Со сноровкой окулиста он третий час вился у глаз Токэ, методично задавая ему одни и те же вопросы.

- Сколько человек было в колонне?
- Какие они несли портреты, транспаранты, флаги?
- Скандировали ли они лозунги?
- Как это, беззвучно?

В начале четвёртого часа измочаленный допросом Токэ отчаянно попытался сам в последний раз объяснить следователю всё сначала.

«Банщик я», – Токэ мимически разыграл сцену «человек моется с мылом».

«Тёрщик-мекисэ», – Токэ исполнил два passe руками от себя к себе, растирая воображаемую спину клиента-муштари.

«Ну, напился, привиделось, думал, „всиосумасошиол“, обос... испугался то есть, сказал сестре, потащила к врачу. К вам не тащила».

Только после этого важный следователь к облегчению Токэ и радости капитана с майором, живших во время допроса мыслью о запоздалом плотном ужине по программе «Стандарты орнаментального гостеприимства», наконец, отступился.

«Вот вам пропуск, товарищ Делинги. Прекратите пить. Поддерживайте в здоровом теле, своём и сограждан, социалистический дух. О нашем разговоре, а также о том, что вы видели, – следователь заглянул в пугающую картонную папку „ДЕЛО“ с траурной чёрной тесёмкой, – в ночь на 8 июня 1983 года, никто не должен знать».

Не дожидаясь, пока Токэ выйдет из комнаты, капитан уже устроился наяривать на телефонном стрекучем диске:

– Алло, «Тросы», Бонда позови! Наш кабинет, два человека и гость... Добавь поросёнка. С выносом!

* * *

«Товарищ подполковник, – обратился к гостю майор, – какая необходимость была в обстановке строгой секретности, не известив нас (что, не доверяете?), преданно служащих на местах Советскому Союзу офицеров, прилетать, чтобы допросить какого-то перепившего банщика?»

Завязанный спросонья, ещё ранним утром, женой в квартире столичный галстук следователя, несмотря на утомлённость, вновь упёрся в его кадык стойкой «смирно!»

«С базы НАТО, с территории Турции была осуществлена масштабная провокация. Мощными передатчиками противник атаковал сознание граждан нашей Советской республики трансляцией идеологически вредных «метавидений», цель которых – отвлечь трудящихся отдельно взятого региона от будней строительства коммунизма. Средствами технического подавления и контроля Закавказского военного округа атака была отбита, трансляция заглушена.

И всё же, «метавидению» (приставка «мета» очень нравилась следователю и «внушала» его периферийным коллегам) удалось достичь одного адресата. К сожалению, наши средства технического подавления и контроля, полностью и беспощадно уничтожая сигнал, не позволяют получить представление о его содержании. Нужен был живой свидетель. Мы его вычислили. Ваш банщик помог нам, а значит, помог Родине!»

Капитан Эскупа понимающе вытянул позвоночник. Майор Хаке втянул в себя живот, ненадолго подавив его упругое сопротивление.

«Вот такие вот „жо и балетные па“, товарищи офицеры!» – итог особой операции следователь подвёл любимой неформальной присказкой.

* * *

Почти счастливый Токэ ближе к вечеру выходил из строгого подъезда КГБ, намереваясь отправиться домой. На крышу. «В голубятню», в которой он безвылазно, без грамма алкоголя и в заметном страхе, провёл два дня до визита к Льву Михайловичу.

Токэ рассчитывал дисциплинированно пройти мимо по-летнему открытого духана «Тросы», где, как обычно к этому времени, собиралась вся районная паства, в том числе Гулбаз, Дубара, Дулик и Шуша. В «Тросах», в хинкально-белом, по цвету теста, шуму, они чувствовали себя лучше, чем дома или на работе.

Завидев сквозь большое, «от пола», окно сосредоточенно идущего «в профиль» Токэ, четвёрка в горло, в пьяный ор, стала звать его, каждый на своём: грузинском, курдском, русском, армянском – но понятном другим языке. Лингва франка по-гуджаратски.

Гулбаз – «мале!»

Дубара кричал – «зу!»

Дулик – «быстрее!»

Шуша – «шют!»

Токэ четырежды понял, что его тепло приглашают присоединиться к компании, и, не оправдываясь, легкомысленно, публично изменил дисциплине.

Для начала аккуратно подливая водку в пиво, Гулбаз обратился к Токэ с откровением, полученным из смутных слухов: «Знаем о твоих неприятностях, Токэ! Больница, Ка-Ге-Бе тоже! Сумасшедший ты или этот, как его, „дысиндент“, всё равно, ты – наш брат!»

Растроганный Токэ ответил в том духе, что, если кто-то думает иначе, пусть увидит, как разбиваются иллюзии его индивидуализма, и щедро поблагодарил небо, пославшее ему таких преданных друзей.

Пьяный до отсутствия связных мыслей, домой Токэ возвращался поздней ночью. Он с усилием, нетвёрдо раскидывая ноги в запylённых ботинках в стороны так, словно давил, как пиявок, все появившиеся сплетни о себе.

Перед тем, как проворчать четыре этажа, поднимаясь вверх по сложенной локтями лестнице, Токэ надолго остановился во дворе у крохотной, в чугунный крест,ливневой решётки. Склонив голову, чутко вслушиваясь, как в стоке, пугливо шумя и прячась, бежит несвежая вода, он погрузился в смиренно-торжественное молчание человека избранного, наделённого пророческим даром.

Во двор спустился Сокило. Он тяжело кружил вокруг Токэ, горестно втаптывая подошвы «чуст» – домашних тапочек на босую ногу в землю, как будто на него действовал усложнённый закон всемирного тяготения. Размахивая короткими костистыми руками, Сокило натруженными сильными пятернями яростно мят воздух то под носом Токэ, то у своего лица, багровеющего от мучительного обязательства гортанными звуками как-нибудь вразумить деверя.

Из окна четвёртого этажа возглавить осуждение одинокого Токэ высунулась Бана, угрожая свесив при этом сдерживаемые на пределе чёрным лифом тяжёлые испуганные груди четвёртого размера.

Посмотрев на Токэ и на небо, Бана оценила расстояние как до брата, так и до Бога.

«Господи!» – обратилась она к Всевышнему, и беспечные, любопытные звёзды высоко над колодцем двора засветились было солидарностью и сочувствием. Бана настойчиво и самоотречённо просила небесные силы утвердить её план успокоения: помочь ей раздобыть быстрый яд, а после того, как она с благодарностью примет его, мгновенно забрать «прямо» с крыши, так ближе и быстрее, её душу, чтобы та смогла, наконец, отдохнуть от всех перенесённых из-за пороков брата страданий.

Сокило помог молчащему деверю справиться с каменными ступенями и забраться на верхний этаж.

Токэ и сестру разделял стоптанный порог открытой двери, за которой, стесняясь своей матерчатой облезлости, смущённо освещал комнату угнетённый годами абажур изначально лимонного цвета.

– Пропойца, стоишь ночным пугалом посередине двора. Что ты там делаешь?

Сокило, всё ещё стоявший за спиной Токэ, не мог видеть его лица, а значит, и прочитать «по губам» спокойный и неожиданно трезвый ответ.

– Слушаю, как журчит вода. Мне так лучше вспоминается.

Бана вновь начала закручиваться в вихрь гнева.

– Тебе! Никчёмному! Нечеловеку! Есть что вспомнить?

– Да, есть! – не ища примирения, сказал Токэ.

«Я помню, как бабушка Мара, принимая роды у нашей матери, шлёпнула меня, младенца, по попке. И я задышал. А пока я вечерами помню об этом, мне по утрам легче надеяться».

После оглушающей ссоры в доме всегда стоит эталонная тишина.

Деликатно жаловались друг другу на ночную прохладу рыжие и такие весёлые днём крыши.

Токэ сверху смотрел на редкие, усталые точки-головы прохожих.

Шумный Гуджарати, медленно успокаиваясь, останавливался на ночлег.

Обнажалась безлюдьем гулкая вязь улиц Старого города.

Его, как игрушку, которую аккуратный ребёнок убирает в детский ящик, забирала темнота.

А в ней, как будто по-прежнему, все были вместе.

И снова каждый был один.

Цикл «Имена»

День, когда ошибся Азор

Коричневые, красные сандалии... Мелькают.

Мальчик, девочка, велосипед в три колеса... На улице.

Благообразный отец частного мастера-установщика поминальных камней Азора, почтеннолетний Бабу в захватанной кепке и куцеватом пиджачке, с утра устроив локоть правой сухонькой руки в распор небогатой трости, так сидит на уличной лавочке, что ему легче смотреть вниз, под ноги, или перед собой, на дерево.

Но он, с трудом запрокинув голову, смотрит вверх, пытаясь разинутым, пустым, без зубов, ртом схватить кусочек пустого – без облачка, только роскошная синь – летнего неба.

Время для детей и стариков течёт по-разному.

Азор дразнит отца, что для всех ушедших оно, время, стоит одинаково. Как сделанные им камни.

Сейчас он собирается на базар и чувствует, что и этот день прост, понятен и неспешно пройдёт: купить провизии, поработать, пообедать, отдохнуть, доработать.

А там и – добрый вечер, ленивые тени!

– И кукурузу купи! Лахтовую! – требует у Азора Бабу, замечая, наконец, велосипед.

Лахтовую – значит отменную. Сын знает, что это слово из далёкого и не очень ему известного детства отца.

* * *

От дома Азора до базара по улицам, уходящим вверх от левобережного Витринного проспекта, пешком минут пятнадцать.

Кто-то сказал, что жизнь на этих улицах действует на их обитателей, почему-то только как сильный побочный эффект в общем-то полезного в иных местах лекарства.

Кажется, это был лётчик Гарик Тимошенко после истории с Сиси – владелицей семи одинаково чёрных кошек, стайку которых местные прозвали «неделькой». Квартал до сих пор вспоминает, как она, возглавив их процессию, пришла к Азору заказать памятный камень для скончавшейся в соседнем, за 280 км от Гуджарати, городе любимой тёти.

Мастер выразил ей ритуальные соболезнование, но уклончиво, сославшись на занятость и технические сроки производства, заказ не принял. Азор уже знал, что Гарик грубо отказал ей, сумасшедшей, в невероятной просьбе доставить за отдельную плату камень по назначению в кабине пилотов регулярного самолёта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.